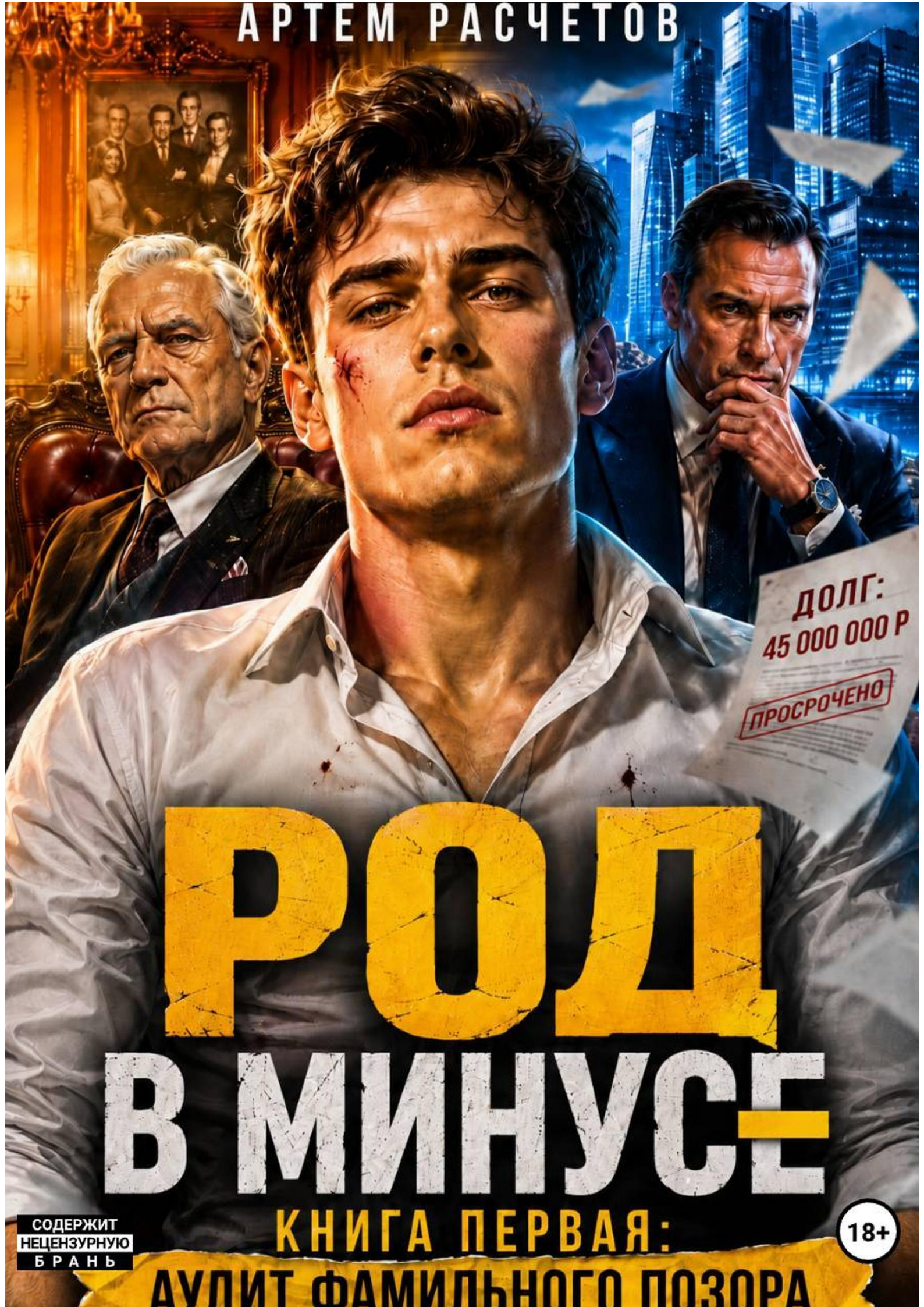


АРТЕМ РАСЧЕТОВ



ДОЛГ:
45 000 000 Р
ПРОСРОЧЕНО

РОД В МИНУСЕ

КНИГА ПЕРВАЯ:

АУДИТ ФАМИЛЬНОГО ПОЗОРА

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Артём Расчётов

**Род в минусе: Аудит
Фамильного позора**

«Автор»

2026

Расчётов А.

Род в минусе: Аудит Семейного позора / А. Расчётов —
«Автор», 2026

Арсений Воронцов очнулся после четырёх месяцев комы и обнаружил три вещи. Первое: он ничего не помнит. Совсем. Ни мать, ни сестру, ни себя. Второе: пока он был пьян отыгрываясь в казино, до того как впасть в кому, кто-то аккуратно подсунул ему договор займа на сорок пять миллионов рублей — под залог семейного особняка в центре Москвы, который оценивается во много раз дороже. Третье: в этом мире у людей есть магические дары. У всего рода Воронцовых — есть. У него одного — нет. Никогда не было. Казалось бы, всё кончено: без памяти, без денег, без магии, с долгом и в оппозиции с хищным кланом Шуйских, которые ждут, когда он сдастся. Но в голове у Арсения живут чужие воспоминания. Двенадцать лет финансового аудита, сотни договоров, тысячи страниц отчётов. И умение читать документы так, как другие не умеют. Магия — это хорошо. Двойная запись — надёжнее.

Содержание

Пролог. Я и моя кома	5
Глава 1. Адвокат и сорок пять миллионов	7
Глава 2. Лиза	12
Глава 3. Колпачный переулок	16
Глава 4. Архив	21
Глава 5. Лопухин	27
Глава	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Артём Расчётов

Род в минусе: Аудит Семейного позора

Пролог. Я и моя кома

В свой последний рабочий день я закрыл квартал за семь минут до дедлайна и почти за тридцать секунд до того, как меня сбил курьер на электросамокате.

Что характерно — отчёт ушёл клиенту вовремя.

Я лежал на проспекте Сахарова, смотрел в небо цвета мокрого асфальта и думал не о жене (её не было), не о детях (их тоже не было) и не о маме (она бы расстроилась, но потом успокоилась — мама у меня практичная).

Я думал, что в графе «прочие расходы» по проекту «Союзагро» я ошибся. На двадцать три тысячи рублей.

Двадцать три тысячи. На фоне баланса в восемьсот миллионов — пыль. Но я знал.

И умирать с этим знанием было обидно.

Где-то рядом причитал курьер. Я различал слова «сука», «штраф» и «не виноват». Кажется, в такой последовательности, с разной интонацией.

— Документы есть? — спросил подбежавший прохожий.

Я попытался сказать «в портфеле», но изо рта пошла кровь, и получилось что-то вроде «вотфле».

Темнело быстро.

Я успел подумать, что бухгалтер из меня в следующей жизни выйдет лучше — главное, не попасть туда, где нет двойной записи.

Где двойной записи нет — там ад.

* * *

Ада не было.

Был писк.

Ровный, монотонный, на одной ноте — такой, какой издаёт кардиомонитор в кино, когда герой ещё жив, но автор уже думает, не пора ли его убить.

Я открыл глаза.

Потолок. Белый. Грязно-белый, если честно — у потолка были подтёки и одна трещина в виде вопросительного знака. Я смотрел на неё, наверное, минут пятнадцать, прежде чем понял, что могу повернуть голову.

Палата. Двухместная. Соседняя койка пустая. На моей правой руке — катетер, на левой — браслет с надписью «Воронцов А.С., 2003 г.р., 92 кг».

Девяносто два килограмма.

Я в жизни не весил девяносто шесть. Я весил восемьдесят два, и из них восемь были печалью.

Я скосил глаза вниз. Под одеялом обнаружилось тело — длинное, чужое, тяжёлое. Я попробовал пошевелить пальцами правой ноги. Пальцы пошевелились, но как-то лениво, будто их не сразу нашли в общем штате.

— О, — сказал кто-то от двери. — Очнулись?

В палату вошла медсестра — лет сорока, со скучающим лицом профессионала, видевшего слишком много чудес, чтобы удивляться ещё одному.

— Воронцов, вы меня слышите? Кивните, если слышите.

Я кивнул.

— Можете назвать своё имя?

Я открыл рот. Закрыл. Открыл снова.

Я помнил, что меня сбил курьер на Сахарова. Помнил отчёт «Союзагро». Помнил, как мама готовит сырники — она кладёт изюм, хотя я просил без изюма уже двадцать лет.

А имя — не помнил.

То есть помнил своё. Старое. Из той жизни. Но «той жизни» здесь, очевидно, не было — здесь был браслет с надписью «Воронцов А.С.», и тело весом девяносто шесть килограммов, и трещина-вопросительный-знак на потолке.

— Не торопитесь, — сказала медсестра, заметив паузу. — После такого нормально. Сейчас врач подойдёт.

— Сколько — голос был хриплый, чужой, басовитый. — Сколько я тут?

— Четыре месяца и одиннадцать дней. — Она поправила одеяло. — Можно сказать, рекорд отделения. Все ставки на вас сделали.

— Какие ставки?

— Что не очнётесь.

Она это сказала так спокойно, как говорят про погоду. Видимо, в этой больнице ставки на пациентов — обычное дело.

— А я очнулся.

— А вы очнулись. — Медсестра впервые улыбнулась. — Молодцом. Только адвокат ваш расстроится.

— Чей?

— Ну, не ваш. Другой. Который к вам ходил. Сидел у койки, бумаги читал вслух, как будто вы их подпишете прямо в коме. — Она пожала плечами. — Каждую неделю по средам. Сегодня среда. Подойдёт где-то к четырём.

Я попытался сглотнуть. Получилось не сразу.

— А который сейчас час?

— Половина третьего.

Полтора часа до адвоката, который ходит к человеку в коме читать ему бумаги.

Прекрасное начало второй жизни.

Глава 1. Адвокат и сорок пять миллионов

Врач пришёл, посветил в глаза фонариком, постучал молоточком по коленке, задал с десяток вопросов и понял, что с памятью у меня плоховато.

— Ретроградная амнезия, — сказал он бодро, как сообщают хорошие новости. — Частичная. Очень частичная. Это, знаете ли, везение.

— В чём везение?

— В том, что не полная. — Он что-то черкнул в карте. — Через месяц-два восстановится. Может, через три. Главное — не паникуйте и не пытайтесь вспомнить через силу.

— А если адвокат?

Врач поднял голову.

— Что — адвокат?

— Через час придёт.

— А.

Он закрыл карту. Посмотрел на меня внимательно. Посмотрел в окно. Посмотрел снова на меня.

— Слушайте, Арсений Сергеевич. Я вам как врач скажу. Вы вправе отказаться от любых встреч до завершения обследования. У вас сейчас, по сути, медицинская причина не подписывать ничего и не говорить ни с кем. Считайте это бесплатным советом.

— Спасибо.

— Не за что. — Он встал. — Я к вам после обхода ещё зайду.

Он вышел.

Я лежал и думал.

Точнее — пытался думать о новом, потому что старое в голове не складывалось. От «Арсения Сергеевича Воронцова, 2003 года рождения» в памяти было пусто, как в офисе в субботу. Зато на месте, где у нормальных людей хранятся школьные воспоминания, у меня лежали чужие — про карьеру в финансовом аудите, про двенадцать лет в «большой четвёрке», про начальницу Ирину Петровну, которая на корпоративах пила виски залпом и плакала про мужа.

Чьи это воспоминания, я не знал. Но они были живые, цветные и подробные — а собственные, видимо, отшибло целиком.

Поэтому я решил так: пока память не вернулась, считаю воспоминания своими. Других нет, выбирать не из чего.

* * *

Адвокат пришёл в четыре часа три минуты.

Не в четыре. И не в четыре пять. В четыре ноль три — у такого человека минута туда, минута сюда что-то значит.

Это был мужчина лет пятидесяти, в костюме, который выглядел как костюм адвоката из сериала про адвокатов: серый, безупречный, без единой морщины, как будто его гладили на самом владельце. Папка под мышкой. Часы — не «Ролекс», но из тех, которые «не Ролекс, потому что Ролекс — это для мажоров».

— Арсений Сергеевич. — Он сел на стул возле койки, поставил папку на колени. — Меня зовут Денис Игоревич Кравцов. Я представляю интересы Шуйских.

Шуйских.

В голове щёлкнуло — не воспоминание, а скорее реакция. Как когда слышишь название лекарства, на которое у тебя аллергия: не помнишь почему, но знаешь, что плохо.

— Слушаю, — сказал я.

— Я приходил к вам несколько раз во время вашего состояния. Зачитывал условия договора, который вы подписали в феврале. Юридически это, конечно, не означает вашего согласия, но — он улыбнулся одними губами, — добросовестность с нашей стороны была проявлена.

— Какого договора?

Адвокат на секунду запнулся. Очень коротко. Так, что я бы не заметил, если бы не двенадцать лет переговоров в прошлой (или какой там) жизни.

— Вы не помните?

— У меня амнезия. Врач только что подтвердил.

— Понятно.

Он открыл папку. Достал документ — три листа, скреплённых синей лентой, как делают, когда хотят, чтобы документ выглядел солиднее, чем он есть.

— Договор займа от двенадцатого февраля этого года. Между вами, Воронцовым Арсением Сергеевичем, и компанией «Шуйский Капитал». Сумма — сорок пять миллионов рублей. Срок — шесть месяцев. Обеспечение — семейный особняк Воронцовых в Колпачном переулке.

Колпачный переулок.

У меня в голове на слове «Колпачный» что-то слабо шевельнулось — как рыба в проруби. Я не помнил особняка. Но я помнил, что Колпачный — это в районе Покровки, тихий, кривой, дорогой.

Особняк в Колпачном за сорок пять миллионов.

Это была не сделка. Это был грабёж в стиле «вы сами расписались».

— Срок истёк, — продолжал Кравцов спокойно. — Шестнадцатого августа. Сегодня двадцать третье октября. Просрочка два месяца семь дней. По договору — пеня ноль семьдесят пятых процента в день от суммы основного долга.

Я молча умножил в уме. Сорок пять миллионов, помноженные на ноль семьдесят пятых процента — триста тридцать семь тысяч пятьсот рублей в день. За шестьдесят семь дней — двадцать два миллиона шестьсот двенадцать с половиной тысяч.

Итого: шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот рублей.

Плюс-минус.

— Итого шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать с половиной, — сказал Кравцов. — Я округлил.

— Я тоже, — сказал я.

Он впервые на меня посмотрел внимательно. Не как на пациента — как на человека.

— Вы хорошо считаете.

— Школьная программа.

— Угу.

Пауза.

— Арсений Сергеевич, я к вам с двумя вариантами. Первый: вы погашаете задолженность в течение десяти рабочих дней. Второй: вы передаёте особняк в собственность «Шуйский Капитал» в счёт долга. По нашей оценке, особняк стоит порядка семидесяти миллионов — что закроет долг практически полностью. Останетесь должны — он заглянул в бумаги, — около двух миллионов. Это мы простим.

«Это мы простим».

Он сказал это так, будто делал подарок.

Особняк в Колпачном переулке. В районе, где квадратный метр стоит от восьмисот тысяч до полутора миллионов. Даже самый убитый особняк там — это сто пятьдесят миллионов, не семьдесят. А нормальный исторический — все триста двадцать.

Они хотели забрать особняк, который стоит в четыре-пять раз больше долга. Под видом «оценки».

Я медленно сел на койке. Голова закружилась — после четырёх месяцев лёжки тело сообщало, что вертикальное положение для него теперь — экзотика. Но я сел.

— Денис Игоревич.

— Да?

— Можно посмотреть договор?

— Конечно.

Он протянул мне три листа.

Я начал читать. Медленно, как читают важное. Голова работала плохо, буквы расплывались, но я читал внимательно — потому что прекрасно знал, на что смотреть в таких бумагах. На что-то знакомое. На что-то знакомое мне уже как *двенадцать лет*.

Первый лист — преамбула, стороны, реквизиты. Всё чисто.

Второй лист — сумма, срок, обеспечение, ставка. Всё чисто. Подпись внизу: моя. То есть Арсения. Размашистая, пьяная, с заваленной вправо буквой «В». Подпись человека, который не очень понимал, что подписывает.

Третий лист — пени, штрафы, порядок обращения взыскания.

Вот здесь.

Я перечитал пункт 5.3 дважды.

— Денис Игоревич.

— Слушаю.

— Тут написано, что обращение взыскания на предмет залога производится во внесудебном порядке.

— Совершенно верно.

— На основании нотариальной исполнительной надписи.

— Именно.

— И при условии, что должник был надлежащим образом уведомлён о просрочке не позднее чем за тридцать дней до подачи нотариусу.

Кравцов чуть подался вперёд.

— Вы были уведомлены, Арсений Сергеевич. Я ходил к вам каждую среду и зачитывал. Свидетелями выступали медсестра и дежурный врач.

— Я был в коме.

— Юридически это не препятствие. Уведомление считается доставленным с момента передачи в адрес должника. — Он развёл руками. — Закон, понимаете.

— Понимаю, — сказал я. — Только в этом пункте не «уведомление». В этом пункте написано: «должник должен подтвердить получение уведомления собственноручной подписью».

Я ткнул пальцем в строку.

— Покажите мне мою подпись на ваших уведомлениях, Денис Игоревич.

Тишина.

Очень короткая.

Кравцов аккуратно — *очень аккуратно*, по-адвокатски — взял у меня листы обратно. Положил в папку. Закрыл папку. Защёлкнул.

— Любопытно, — сказал он. — Вы прочитали договор быстрее, чем большинство моих клиентов. И увидели то, что я обычно показываю им сам — за гонорар.

— Я хорошо считаю. И читаю тоже.

— Я заметил.

Он встал.

— Хорошо, Арсений Сергеевич. Я передам вашу позицию доверителю. Думаю, в течение недели мы пришлём вам предложение. Уже без особняка.

— А с чем?

Он чуть улыбнулся.

— С реструктуризацией.

Это слово в его исполнении прозвучало как угроза.

Он направился к двери. У двери обернулся.

— Один вопрос. Из любопытства.

— Да?

— Вы точно ничего не помните?

Я посмотрел ему в глаза. Это было сложно: глаза у Кравцова были серые и пустые, как ноябрьская лужа.

— Я не помню, как меня зовут, — сказал я. — Я не помню, где я учился. Я не помню маму и сестру. Я не помню, как подписал ваш договор.

— А пункт пять три?

— А пункт пять три, — сказал я, — я и в первый раз не подписал бы.

Кравцов хмыкнул.

— Тогда, Арсений Сергеевич, у меня для вас одно соображение. По-человечески.

— Слушаю.

— Шуйские — это не «Шуйский Капитал». Это люди. И эти люди не любят, когда им показывают пятый пункт третий подпункт. — Он надел перчатки — кожаные, дорогие, не по сезону. — Поправляйтесь.

И вышел.

* * *

Я сидел на койке.

В голове было пусто — но это была хорошая пустота. Не та, что после комы, а та, что после трудной задачи: когда всё понятно, и от этого тихо.

Шуйские. «Шуйский Капитал». Колпачный переулок. Сорок пять миллионов, превратившиеся в шестьдесят семь шестьсот двенадцать с половиной.

И где-то — мама, которую я не помню. Сестра, которую я не помню. Особняк, которого я не видел. И я сам — Арсений Сергеевич Воронцов, девяносто шесть килограммов, двадцать три года, четыре месяца комы.

Я не знал, кто я.

Но я знал, что я только что выиграл первый раунд.

Сорок секунд, три страницы, один пункт. По меркам моей старой работы — обычный вторник.

По меркам новой жизни — повод для аккуратной, очень осторожной надежды.

Дверь приоткрылась.

— Воронцов, — сказала медсестра. — Ужин будете?

— Буду, — сказал я. — И ещё, если можно ноутбук. У меня есть ноутбук?

— У вас в тумбочке всё лежит. Телефон, ноутбук, документы. Сестра ваша привозила.

Хорошая девочка, кстати.

— Сестра?

— Да, сестра.

— Как её зовут?

Медсестра посмотрела на меня с жалостью.

— Лиза, Арсений. Её зовут Лиза.

Дверь закрылась.

Я открыл тумбочку.

Телефон — разряжен. Документы — паспорт, полис, водительские. Ноутбук — старый, но рабочий, с наклейкой «Я ненавижу понедельники» на крышке.

Хорошая наклейка.

Я зарядил телефон. Включил ноутбук.

И первое, что я сделал, — вбил в поисковик три слова.
«Шуйский Капитал отзывы».

Глава 2. Лиза

Сестра приехала на следующий день в одиннадцать утра.

Я узнал её раньше, чем увидел, — по звуку каблуков в коридоре. Звук был сердитый. Так ходят люди, которые приехали не радоваться, а решать вопросы и заранее не в духе, потому что вопросы решать не их работа, но больше некому.

Дверь открылась без стука.

— Ты очнулся, — сказала она вместо «здравствуй».

Это была констатация факта. С лёгким оттенком претензии — мол, мог бы и пораньше.

Лизе было примерно лет двадцать пять. Невысокая, худая, в чёрном пальто, которое сидело так, как сидят дорогие вещи на людях, привыкших к дорогим вещам с детства. Волосы тёмные, собранные в низкий хвост. Лицо — острое, с тенями под глазами. Не красавица. Но из тех женщин, на которых оборачиваются: не потому что красиво, а потому что *интересно*.

Она поставила сумку на стул. Села на край койки. Посмотрела на меня.

— Ну?

— Что — ну?

— Что — ну, спрашиваю.

Я молчал. Она тоже.

Минуту, наверное.

Потом Лиза вздохнула — длинно, как вздыхают перед тем, как сказать что-то, что давно собирались.

— Сеня, я тебя серьёзно спрашиваю. Ты в курсе, в какую жопу ты нас всех затащил?

— Я не помню.

— Не помнишь — что?

— Ничего. — Я постучал пальцем по виску. — Амнезия. Врач говорит, частичная. Может, пройдёт через месяц-два.

Лиза долго на меня смотрела.

Я ждал.

Я думал, она сейчас не поверит. Или начнёт проверять — задаст вопрос вроде «помнишь, как мы катались на дедушкиной даче». В прошлой жизни я бы проверил.

Но она не проверила.

Она просто кивнула — медленно, как кивают, когда укладывают новую информацию в голову, не зная пока, что с ней делать.

— Хорошо, — сказала она. — Это даже логично.

— Что логично?

— Что у тебя теперь и памяти нет. Раньше у тебя были деньги, фамилия, наследство — а ума не было. Теперь ровно наоборот.

Она это произнесла без улыбки.

Я тоже не улыбнулся. Но внутри что-то отметил — у Лизы было то, чего у Арсения, судя по всему, никогда не водилось: язык. Острый, тренированный, без щадящих интонаций. Так разговаривают либо в очень хороших семьях, либо в очень плохих компаниях. Я подозревал, что у Лизы был доступ и туда, и туда.

— Лиза.

— Да.

— Расскажи мне всё.

— Что — всё?

— Всё. С начала. Как меня зовут полностью, кто наши родители, что с особняком, что с долгом, кто такие Шуйские. У меня в голове пусто. Совсем.

Она помолчала. Потом достала из сумки термос и два пластиковых стаканчика — заранее, для двоих, что меня тронуло. Налила в один кофе, в другой — что-то другое, по запаху похожее на бульон.

— Бульон — это тебе. Куриный. Мама велела.

— Мама?..

— Ага.

Она протянула мне стаканчик.

— Тебя зовут Арсений Сергеевич Воронцов. Меня — Елизавета Сергеевна Воронцова. Маму зовут Анна Дмитриевна. Папу звали Сергей Андреевич — он умер в две тысячи семнадцатом, инсульт, сорок восемь лет. Мама с тех пор живёт в Угличе у тётки, в Москву не возвращается, потому что не может. Это если коротко.

— А если длинно?

— А если длинно — мы из рода Воронцовых. Один из старых родов. Не самый сильный, но один из старых. — Она сделала глоток кофе. — Воронцовы — это «земля». Это конкретный термин, потом объясню, если правда не помнишь. Не помнишь?

— Не помню.

— Ладно. Папа был последним сильным в семье. После него — мама, я и ты. Мама умеет много, но больше ничего не хочет. Я умею мало, но хочу. Ты не умел почти ничего и не хотел ничего — кроме как красиво жить.

— И как, красиво получалось?

— Получалось, — она усмехнулась невесело, — пока деньги были.

Я молча пил бульон. Бульон был хороший — солёный, с лавровым листом, чуть с морковкой. Я не помнил, любил ли я бульон.

— А Шуйские?

Лиза напрыглась.

Я это увидел. Не услышал, а увидел. По плечам. Плечи у неё поднялись на полсантиметра и не опустились обратно.

— Шуйские — это другой род. Сильнее нашего. Намного. — Она поставила стаканчик. — Они старые враги, ещё с папиных времён. Папа им как-то перешёл дорогу. Подробностей не знаю — мне было тринадцать, при мне эти разговоры не вели. Но с тех пор Шуйские за нами приглядывают.

— Приглядывают?

— Если коротко — каждый раз, когда у нас что-то идёт не так, рядом оказывается Шуйский. Совпадение, конечно.

Лиза сказала «конечно» так, что стало ясно: совпадений в жизни Воронцовых давно не бывает.

— И как ты с ними оказался, — продолжала она, — я узнала, только когда тебя сбили. Точнее, не сбили — ты сам в дерево въехал. Был пьяный. Вышел из казино «Альбатрос» в три ночи, сел за руль, через сто метров — дерево.

— Я в коме был четыре месяца.

— Угу.

— Из-за дерева?

— Из-за дерева. И ещё кое из-за чего, наверное. — Лиза посмотрела в окно. — Когда тебя привезли, у тебя в крови был не только алкоголь. Был ещё какой-то «препарат группы Б». Это в выписке так написано — «препарат группы Б». Врачи объяснили: вещество, которое в обычной аптеке не купить, но которое в определённых кругах знают.

— В каких определённых?

— В магических.

Я отставил стаканчик.

В комнате было тихо. Где-то за стеной кто-то кашлял.

— Лиза.

— Что.

— Ты сейчас сказала «магических».

— Сказала.

— И?

Она посмотрела на меня внимательно. Очень внимательно. Как будто что-то проверяла.

Потом протянула руку — открытой ладонью вверх.

И на ладони у неё, прямо у меня на глазах, проступил рисунок. Тонкий, голубоватый, как иней. Сначала круг, потом внутри круга — что-то вроде звезды, потом по краю — мелкие значки, которых я не знал.

Рисунок проступил, подержался секунд пять и растаял.

Лиза опустила руку.

— Это родовой знак Воронцовых. — Она говорила тихо. — Я почти ничего не умею, Сеня. На уровне «школьница средних способностей». Но знак родовой умею показать. Это все Воронцовы умеют. С четырнадцати лет.

Я молчал.

— Покажешь свой? — спросила она.

Я посмотрел на свою ладонь. Большая, мужская, с короткими ногтями и шрамом у основания большого пальца. Чужая.

Я представил круг. Потом звезду внутри. Потом значки.

Ничего не произошло.

Ладонь как ладонь.

— Не получается, — сказал я.

Лиза кивнула.

— Я так и думала.

— В смысле?

— Ты никогда не умел, Сеня. — Она смотрела на меня без жалости и без насмешки. Просто смотрела. — Ты единственный Воронцов за двести лет, у которого нет дара. Совсем. Ноль.

— И что это значит?

— Это значит, — сказала она, — что Шуйские тебя считают расходным материалом. Подписать договор может любой. А вот защищать особняк должен тот, у кого есть кровь и дар. У тебя только кровь.

Она встала. Собрала стаканчики. Закрутила термос.

— Поэтому, когда они тебе подсунили договор в феврале, ты подписал. И они знали, что подпишешь. И знали, что обращение взыскания пройдет без сопротивления — потому что некому сопротивляться. Мама в Угличе, я я никто в смысле силы. Ты — Воронцов по фамилии, но не Воронцов по сути.

Лиза подошла к двери. Обернулась.

— Сеня. Ты вчера договор прочитал. Адвокат мне звонил — злой. Сказал, что ты «оказался внимательнее, чем мы предполагали».

— И?

— И я хочу понять. — Она смотрела мне в глаза. — Ты правда не помнишь? Или ты что-то знаешь и просто не говоришь?

— Я правда не помню, — сказал я. — Совсем.

— Тогда откуда ты знаешь договорное право?

Я открыл рот. Закрыл.

Объяснить, что я последние двенадцать лет жизни (которой, кажется, не было) занимался финансовым аудитом, я не мог. Точнее, мог — но Лиза приняла бы меня за сумасшедшего, и это никому бы не помогло.

— Не знаю, — сказал я честно. — Просто прочитал — и увидел.

Она посмотрела ещё секунду.

— Ладно.

И ушла.

Я остался один с пустым стаканчиком от бульона и одним очень неприятным открытием.

В этом мире у людей рисуются знаки на ладонях.

А у меня — нет.

* * *

Вечером я сидел на койке и думал.

Думать было непривычно — мысли в новой голове шли тяжело, путались, цеплялись друг за друга. Но через два часа я кое-что для себя выстроил.

Первое. Я — Арсений Воронцов, в этом мире нет ни ассигнаций, ни Иоаннов, ни попаданства. Просто магия есть, я о ней не знал, но она есть.

Второе. Магия в этом мире — это не сила. Это статус. У кого есть — те волки. У кого нет — те овцы. Я значит для них баран.

Третье. У меня в голове чужая память. Я её называю «моей старой», но это, скорее всего, не моя. Это память какого-то человека, который — не знаю как — оказался у меня в голове после комы. Может, побочный эффект «препарата группы Б». Может, ещё что.

Четвёртое. Эта чужая память — мой единственный реальный козырь. В мире, где все играют силой, у меня есть двенадцать лет финансового аудита, юридического чтения и переговоров. Я не могу нарисовать знак — но я могу прочитать договор быстрее, чем человек, который двадцать лет рисовал знаки и ни разу не читал договор.

Пятое. Шуйские этого не знают. Они думают, что я баран. И пока они так думают — у меня есть фора.

И шестое — самое важное.

Я медленно поднял правую руку. Посмотрел на ладонь.

Знака не было. И, скорее всего, никогда не будет.

Но в той — старой, чужой — памяти у меня были вещи получше знака.

У меня был, например, реестр государственного нотариата с открытым API. И статья 349 Гражданского кодекса, пункт 3. И понимание, что нотариус, заверяющий исполнительную надпись по поддельному уведомлению о просрочке, идёт под лишение лицензии и уголовку по 327-й.

Это, конечно, не магия.

Это лучше.

Глава 3. Колпачный переулок

Выписали меня на третий день.

Не потому что я выздоровел — я не выздоровел, я едва ходил, — а потому что у меня кончалась страховка, а платить из своего кармана за каждый день в одноместной палате (двухместная, но соседа всё не приводили) у Воронцовых не было.

Это мне сообщила Лиза с тем выражением лица, с каким сообщают плохие новости людям, которые виноваты в этих новостях сами.

— Дома будет нормально, — сказала она. — Никифор тебя дожждётся.

— Кто?

— Никифор. Дворецкий.

Я поднял брови.

— У нас есть дворецкий?

— У нас есть Никифор. — Лиза собирала мои вещи в спортивную сумку. — Назвать его дворецким — это для дворецкого комплимент. Он у деда служил, у папы служил, теперь у нас. Возраст — ну, на глаз семьдесят с хвостом. Делать ничего особо не делает, но из дома его не выгонишь — он там как несущая стена. Уберёшь — дом рухнет.

— А он на зарплате?

— На какой зарплате, Сеня. — Лиза застегнула сумку. — У нас на счёте сейчас миллиона полтора. Это всё. Если ты ему предложишь зарплату — он обидится. Серьёзно.

Я молчал.

Полтора миллиона.

В кармане у наследника одного из «старых родов».

* * *

Москва за окном такси была обычная.

Совершенно обычная — серая, мокрая, пробки. Машины, светофоры, человек с самокатом наперевес (я отвернулся), кафе «Шоколадница», реклама ипотеки «от четырёх процентов годовых» *со звёздочкой шрифтом два пункта*.

Никакой магии в окне не было.

Я ожидал чего-то другого. Что увижу, например, светящихся людей. Или летающую штуку. Или хотя бы вывеску «Магическая аптека».

Ничего такого.

— Лиза.

— Что?

— А магия — она где?

— В смысле?

— Ну, я вижу обычный город. Магии не видно.

Лиза посмотрела на меня снисходительно. С тем же выражением, с каким старшие сёстры всю жизнь смотрят на младших братьев, ляпнувших что-то очевидное.

— Сеня, ты в книжке детской, что ли? Магия — она внутри людей. Не на улице. Это не «магический мир» с другой стороны. Это наш мир. Просто у некоторых получается то, что не получается у других.

— И что — никто об этом не знает?

— Знают все, кому надо. И никто, кому не надо.

— Это как?

— Это так. — Лиза посмотрела в окно. — Верхушка государства знает. Верхушка силовых знает. Крупный бизнес — да, топы знают. Журналисты — нет. Обыватели — нет. И не потому что это секрет, а потому что никому не интересно. Что ты сделаешь со знанием, что у

Шуйских в роду умеют поджигать? Ничего. Будешь жить так же. Платить ипотеку, ругаться на ЖКХ, ходить за дешёвой едой в «Пятёрочку».

— А Воронцовы что умеют?

Лиза помолчала.

— Воронцовы — земля. Это значит — стабильность, рост, корни. Когда Воронцов на своей земле, его сложно сдвинуть. Когда у Воронцова есть деньги — они почему-то приумножаются. Когда у Воронцова есть люди — они почему-то ему верны. Это и есть «земля». Не огонь, не вода, не молния. Просто земля.

— Не самая впечатляющая магия.

— Не самая, — согласилась Лиза. — Но именно поэтому Воронцовы двести лет держались. Огонь горит и гаснет. Земля — это основа.

— А наша — куда делась?

Она посмотрела на меня. Долго.

— Папа умер, — сказала она наконец. — Мама уехала. Ты пил и всё просрал. Я — слабая. Есть, наверное, ещё. Но устала наша земля.

Такси свернуло во двор.

* * *

Особняк в Колпачном переулке оказался небольшим.

Я почему-то ожидал чего-то размером с консерваторию. На деле это был двухэтажный дом начала двадцатого века, узкий, втиснутый между двумя другими такими же — с облезлой штукатуркой кремового цвета, чёрной кованой решёткой над низеньким крыльцом и одной голой липой во дворе.

Дом был некрасивый.

Но он был старый, настоящий, и стоял на нём номер — «дом 7», латунный, с потёртыми краями. И когда я смотрел на этот «дом 7», что-то внутри — не в голове, а где-то ниже, в груди — слабо отозвалось.

Что-то такое непонятное.

— Пошли, — сказала Лиза.

Мы поднялись на крыльцо. Лиза достала ключ — старый, бронзовый, с витой бородкой. Открыла дверь.

В прихожей пахло старым деревом и едва уловимо — бергамотом. Кто-то недавно пил чай.

— Никифор Палыч! — крикнула Лиза. — Мы приехали!

Из глубины дома раздались шаги.

Он появился через минуту — старик в тёмных брюках, белой рубашке и тёмно-зелёной жилетке, на которой не хватало одной пуговицы. Лицо у него было невозможно вежливое и совершенно нечитаемое — как у швейцаров в дореволюционных гостиницах на фотографиях.

— Арсений Сергеевич. — Он коротко поклонился. — С возвращением.

— Здравствуйте, Никифор.

— Палыч, — поправил он мягко.

— Никифор Палыч.

— Так. — Он посмотрел на меня внимательно. — Елизавета Сергеевна предупредили, что вы не вполне в памяти. Я готов содействовать.

— Спасибо.

— Чай в гостиной. Сырники, как любите, без изюма.

Я замер.

— Без изюма?

— Так точно. Вы изюм не переносите с детства, я помню.

Я открыл рот, чтобы что-то сказать, но не сказал ничего. Потому что в чужой памяти, которая у меня в голове, мама клала в сырники изюм, хотя я просил без, *двадцать лет*. А в этой памяти — настоящей моей памяти — мне с детства, оказывается, делали без изюма.

Это была первая мелочь, в которой реальный Арсений и чужой я совпали. Не на договоре и не на цифрах. На сырниках.

И от этого совпадения у меня впервые за три дня что-то отпустило в груди.

Я не знал, кто я. Но кто-то здесь меня знал. И помнил про изюм.

— Спасибо, Никифор Палыч.

— Не за что, барин.

— Не надо «барин».

— Слушаюсь, барин.

Лиза за моей спиной хмыкнула.

— Он всю жизнь так. Не отучишь.

* * *

В гостиной я сел на старый диван — кожаный, потрескавшийся, продавленный с правой стороны (видимо, на этом месте чаще всего сидел отец). На низком столике стоял чай в фарфоровой чашке и тарелка сырников.

Я съел один сырник. Он был вкусный. Без изюма.

Никифор Палыч стоял у дверей, сложив руки за спиной. Лиза села напротив, в кресло.

— Никифор Палыч, — сказал я. — Можно вопрос?

— Извольте.

— Что вы знаете про договор с Шуйскими?

Старик чуть напрягся. Я это заметил — он стоял ровнее, чем минуту назад.

— Знаю то, что видел, барин.

— А что вы видели?

Никифор Палыч посмотрел на Лизу. Лиза кивнула.

— Двенадцатого февраля сего года, — начал старик, — около десяти часов вечера к вам прибыл господин. Назвался представителем «Шуйский Капитал». Я доложил, вы приняли в кабинете. Был с собой портфель. Через час они вышли. Господин уехал.

— А я?

— Вы, барин, изволили быть в состоянии не вполне трезвом. К моменту приезда господина уже не вполне. Когда они уехали — совсем пьяны в зю-зю.

— Я с ним пил?

— Да, барин. С ним.

— И до этого мы виделись?

— Нет, барин. В этом доме — не виделись. До этого вас в казино «Альбатрос» с ним познакомили. По вашим словам — «приятный человек, понимающий».

— Сколько раз я с ним встречался до подписания?

Старик помолчал.

— Не могу знать точно, барин. Но, полагаю, не более двух-трёх раз. И все — в «Альбатросе».

Я медленно поставил чашку.

«Альбатрос». Подпольное казино для богачей. Знакомство «приятного человека». Через две-три встречи — договор на Сорок пять миллионов под залог особняка стоимостью в триста.

Это была не сделка. Это была подсадка.

Профессиональная, тщательная, многоходовая.

И моё «я» — то, прежнее, пьяное, проигрывающее, без памяти и без знака на ладони — было в этой схеме главным расходным элементом. Я подписал то, что мне дали подписать, и въехал в дерево там, где мне сказали в него въехать. Я был не должником. Я был инструментом.

— Никифор Палыч.

— Слушаю.

— А до казино? До «Альбатроса»? Как я туда вообще попал?

— Барин, простите старика

— Говорите.

Он вздохнул.

— Вас туда привёл господин Лопухин. Андрей Андреевич. Ваш друг с университета.

Я повернулся к Лизе.

— Я знаю этого Лопухина?

Лиза смотрела в окно. Лицо у неё было такое, какое бывает у людей, которые уже всё поняли — давно, до тебя, без удивления и без надежды.

— Знаешь, — сказала она. — Андрюша Лопухин. Твой лучший друг с первого курса. Шафером был у меня на несостоявшейся свадьбе.

— И?

— И, — Лиза перевела на меня глаза, — Лопухины — это вассальный род Шуйских. Уже четвёртое поколение.

Тишина.

Старая липа за окном тихо стучала в стекло одной голой веткой.

Никифор Палыч стоял неподвижно.

Лиза смотрела на меня, и в её глазах впервые за три дня я увидел не претензию и не усталость. Я увидел что-то другое — не до конца, но узнаваемо.

Жалость. И, может быть, что-то очень похожее на надежду.

— Сеня, — сказала она. — Ты в гораздо большей жопе, чем я думала.

Я взял ещё один сырник.

— Я заметил, — сказал я.

* * *

Той ночью я долго не мог заснуть.

Спальня была чужая, потолок незнакомый, постель пахла лавандой и свежестью. Я лежал на спине и смотрел в темноту — туда, где должен был быть потолок, но потолка не было видно: только смутный квадрат окна и за ним — фонарь, желтоватый, моргающий.

Я думал.

Я думал, что:

Шуйские — мощный род. У них дар, у них деньги, у них «Шуйский Капитал», у них Кравцов в перчатках не по сезону, у них вассалы — Лопухины, и наверняка не только Лопухины.

У меня — пустой счёт (полтора миллиона, и тех скоро не будет), особняк с просроченным залогом, сестра с минимальным даром, мать в Угличе, дворецкий восьмидесяти лет и одна голая липа во дворе.

И у меня нет знака.

Я медленно поднял руку перед собой, в темноте. Развернул ладонь вверх.

Знака не было.

Но я смотрел на свою ладонь, и думал не о том, чего у меня нет, а о том, что у меня есть.

У меня есть голова. Чужая или своя — неважно, но она работает.

У меня есть пункт 5.3, на котором я уже один раз сломал им игру.

И у меня есть одна неделя.

Одна неделя до того, как Кравцов вернётся с «новым предложением», и две — до того, как Шуйские поймут, что предыдущий Арсений умер в коме, а вместо него теперь лежит в особняке кто-то совсем другой.

Я закрыл глаза.

И впервые за четыре с лишним месяца — новый Арсений, без памяти, без знака, без денег, но с чем-то другим, чему я ещё не подобрал названия, — улыбнулся в темноту.

Не злорадно. Не торжествующе.

Но профессионально.

Так улыбаются аудиторы, когда видят в чужом балансе цифру, которая всё объясняет.

Глава 4. Архив

Проснулся я в семь утра — без будильника, просто открыл глаза и понял, что надо действовать.

В комнате было серо. За окном — серо вдвойне. Октябрьское московское утро, угрюмое, сырое утро.

Я полежал минуту. Тело привычно сообщало, что ему тяжело: четыре месяца лёжки даром не проходят. Мышцы были чужие — рыхлые. Суставы ныли как у старика.

Я сел. Спустил ноги. Дошёл до окна.

Внизу — узкий двор, мокрые жёлтые листья, мусорные баки, одна машина «Лада» песочного цвета. Это была Москва не из гляцевых журналов. Обычная Москва.

Я посмотрел на свою правую ладонь. Поднёс к глазам.

Знака не было.

И это меня почему-то печалило.

* * *

Никифор Палыч ждал меня внизу.

В таком же костюме, что и вчера, — тёмные брюки, белая рубашка, тёмно-зелёная жилетка без одной пуговицы. Я подумал: интересно, у него всю жизнь не хватает одной пуговицы или это он случайно незаметил, с виду он перфекционист — что за хрень с пуговицей-то, да ладно уже, может возраст сказывается.

— Доброе утро, барин. Завтрак в столовой.

— Никифор Палыч, — сказал я. — У нас был кабинет отца?

Старик не удивился. Он, похоже, вообще не умел удивляться — это умение в нём атрофировалось ещё при бабушке.

— Кабинет Сергея Андреевича на втором этаже, в дальнем крыле. Я его держу закрытым. Ключ у меня. После смерти Сергея Андреевича туда заходили вы один раз, в две тысячи восемнадцатом, и Елизавета Сергеевна — несколько раз.

— Я туда заходил?

— Один раз. После похорон. Пробыли там минут двадцать. Вышли с бутылкой коньяка из бара.

— И больше не заходил?

— Не заходили.

Я кивнул.

— Откройте.

— Сейчас, барин?

— Сейчас.

* * *

Кабинет отца оказался комнатой метров пятнадцати — небольшой по меркам особняков из кино, но плотно заставленной. Письменный стол у окна — массивный, дубовый, с резными ножками. Кресло — кожаное, чёрное, со вмятиной на сиденье. Книжный шкаф во всю стену. И ещё один шкаф — узкий, с глухими дверцами, без книг. Архив.

Пахло чем-то отдалённо знакомым — кожей и хорошим табаком, хотя отец, по словам Лизы, не курил. Видимо, всё же баловался сигарами.

Я обошёл стол. Сел в кресло.

И в первый раз с момента, как очнулся, что-то внутри отозвалось ясно — вот тут, в этом кресле, в этом кабинете, у этого стола.

Я не помнил отца. Я не помнил, как он сидел в этом кресле. Я не помнил его голоса.

Но кресло помнило, что в него надо садиться чуть наклонившись вперёд, потому что спинка просела влево, и если не компенсировать — заваливаешься.

Тело знало. Голова — не помнила.

* * *

Архив отца оказался не «архивом» в том смысле, в каком я его себе представлял.

Я ждал стопок документов, папок с надписями, пыльных подшивков. Я нашёл *систему*.

В узком шкафу стояли тридцать восемь папок. Каждая подписана от руки, аккуратным мелким почерком: «Земля. Тверская. 2014», «Договоры. Дом. 2015», «Шуйские. Переписка», «Лопухины», «Финансы. Личное», «Налоги. 2014-2016», и так далее.

Я провёл пальцем по корешкам. Остановился на «Шуйские. Переписка».

Достал.

В папке было около ста листов. Не подшитые — сложенные стопкой, по убыванию дат. Сверху — самое раннее, январь 2010 года. Снизу — самое позднее, март 2017-го. Через два месяца после этого письма отец умер.

Я начал читать.

* * *

Через час Никифор Палыч принёс кофе.

Поставил молча, не сказав ни слова, и ушёл. У него был дар — не магический, обычный, но редкий: понимать, когда человеку не надо мешать.

Я пил кофе и читал.

Я понимал процентов шестьдесят. Остальное было на полутонах, на отсылках к каким-то событиям, которых я не знал. Но шестидесяти процентов хватило.

Папа и Шуйские были врагами. Не соседями, у которых сложные отношения, а именно врагами. С 2010 года, после какой-то истории с земельным участком в Тверской области, которым Воронцовы владели двести лет, а Шуйские пытались выкупить через подставную компанию, и не выкупили, потому что отец понял схему и сорвал её.

Отец писал письма сухо, по делу, без эмоций. Глава за главой — как он год за годом отбивает атаки. Юридические, финансовые, личные. Один раз Шуйские пытались заранее сосватать у него дочь — то есть Лизу, — в 2014 году (какой у них был умысел, я пока не понимал). Лизе было всего пятнадцать. Отец отказал. После этого письма пошли совсем сухие.

И в последнем официальном письме — март 2017-го — отец писал:

Игорь Витальевич, я устал от этой переписки так же, как и Вы. Предлагаю заключить мораторий. Я не трогаю Ваши интересы в Тверской области, Вы не трогаете мою семью. Срок — десять лет. Готов подписать в любой удобной для Вас форме.

Подписи Шуйских под мораторием в папке не было.

Через два месяца отец умер.

* * *

Я закрыл папку.

Сидел в кресле, смотрел в окно, и в голове складывалось то, что не складывалось ещё вчера.

Отец умер в сорок восемь лет от инсульта. Это есть в выписке. Это есть в свидетельстве. Это есть в Лизиных словах — «папа умер в две тысячи семнадцатом, инсульт».

Инсульт в сорок восемь — бывает. Случается. У нервных, у курильщиков, у людей с давлением.

Отец не курил. Это сказал Никифор Палыч между делом. И у отца — по фотографии в коридоре, которую я успел рассмотреть, — было лицо человека, который визуально здоров.

И через два месяца после того, как он отправил Шуйским предложение о моратории, на которое они не ответили, у него случился инсульт.

В мире, где у людей рисуются знаки на ладонях.

В мире, где, по словам Лизы, существует «препарат группы Б», который в обычной аптеке не купить, но в определённых кругах знают.

В мире, где я через семь лет после смерти отца въехал в дерево с тем же «препаратом группы Б» в крови.

Я не делал выводов. Выводы — это для прокуратуры. Для аудита достаточно зафиксировать факт: цифры не сходятся.

Цифры не сходились.

* * *

Я работал в кабинете до часу дня.

Я разобрал шесть папок: «Шуйские. Переписка», «Земля. Тверская», «Финансы. Личное», «Налоги. 2014-2016», «Договоры. Дом» и «Лопухины». Последняя была тонкая, всего восемь листов. Из них я узнал, что Лопухины — действительно вассалы Шуйских с 1903 года, что Андрей Лопухин — действительно был в школе и в университете другом Арсения, и что отец примерно с 2015 года категорически не пускал Андрея в дом. Запрет шёл с пометкой «по совокупности».

Что означало «по совокупности», в папке не объяснялось.

К часу у меня в голове сложилась первая, очень предварительная карта.

Шуйские — клан старый, мощный, мстительный. Хотели Тверскую землю Воронцовых ещё в 2010 году. Не получили. Двенадцать лет это помнили. После смерти отца аккуратно — через Лопухина, через казино, через «препарат группы Б» — занялись Арсением. Дождались, когда мальчик-без-дара сядет за стол и подпишет всё. Подсунули договор с особняком в Колпачном в залог. Не потому что нужен особняк — он у них уже четвёртый по счёту особняк будет, не царское дело. А потому что особняк в Колпачном — это родовое гнездо Воронцовых. Без него Воронцовы юридически перестают быть «земельным» родом. Перестают быть «земельным» — теряют силу даже у тех, кто остался. Теряют силу — Тверская земля становится бесхозной и переходит по сложной цепочке к Шуйским через год-полтора.

Игра шла не за шестьдесят семь миллионов рублей.

Игра шла за двенадцатилетнюю обиду и за участок в Тверской области, который, я был уверен, стоит на чём-то очень интересном. Иначе никто бы за него двенадцать лет не воевал.

Я закрыл последнюю папку.

— Никифор Палыч.

Старик появился в дверях, как будто стоял за ними с самого начала. Может, и стоял.

— Что в Тверской области?

— Барин?

— У нас земля в Тверской. Что там?

Никифор Палыч помолчал.

— Лес, барин. И озеро. И две деревни — Воронцово и Малое Воронцово, в них живут восемнадцать дворов. И ещё в Воронцово — старая часовня. Не действующая. Стоит на холме. Сергей Андреевич часто туда ездил.

— Часто — это сколько?

— Раза три-четыре в год. Обычно один. Без матушки и без вас. Ночевал в часовне. Возвращался на третий день.

— Что он там делал?

— Не могу знать, барин.

— Не можете или не хотите?

Старик впервые за два дня посмотрел мне в глаза прямо. Долго.

— Я знаю, что Сергей Андреевич туда ездил, — сказал он. — И знаю, что Сергей Андреевич возвращался оттуда другим — спокойнее. И знаю, что это место для рода Воронцовых — главное. Что именно — мне Сергей Андреевич не говорили. Я не спрашивал.

— Спасибо, Никифор Палыч.

— Не за что, барин.

Он постоял ещё секунду — будто хотел что-то добавить. Потом тихо сказал:

— Барин.

— Да?

— Сергей Андреевич всегда говорили: «Воронцовы — это не дом в Колпачном. Воронцовы — это часовня на холме». Если это вам поможет — я передал.

— Спасибо.

— Не за что.

Он вышел.

* * *

В половине второго мне позвонила мама.

Я не сразу понял, что это она — высветился номер «Анна Дмитриевна» (в телефоне Арсения мама была подписана по имени-отчеству, что много говорит о Арсении). Я снял трубку.

— Сеня. — Голос был тихий, спокойный, без интонаций. — Лиза мне сказала, что ты очнулся. Я не звонила сразу, потому что не знала, что говорить.

— Здравствуй, мама.

Я не помнил её голоса. Я слышал его как будто впервые. И всё равно сказал «здравствуй, мама», и это было правильно — потому что не было никакого другого слова.

— Как ты себя чувствуешь?

— Нормально. Слабый. Не всё помню, даже тебя смутно помню.

— Лиза говорила.

Пауза.

— Сеня.

— Да?

— Я не приеду.

Я молчал.

— Я не могу, — сказала мама. — Прости меня. Я не могу в Москву. Я не могу видеть дом. Я не могу видеть тебя — пока — потому что когда я тебя увижу, я начну тебе всё высказывать, всё, что копилось семь лет. И тебе сейчас этого не надо. А мне не надо тем более — я не за этим живу.

— Понимаю.

— Не понимаешь. Но это ничего.

Снова пауза.

— Сеня, послушай меня. Если ты хочешь спасти дом — спаси. Если не можешь — отдавай и переезжай ко мне в Углич. Я не буду тебя ругать. Я устала ругать. Просто реши и сделай.

— Я попробую.

— Не «попробую». Реши и сделай. Это не одно и то же.

— Хорошо. Я решу и сделаю.

— Так лучше.

Третья пауза. Длиннее.

— Сеня.

— Да, мама.

— Папа тебя любил. Я знаю, ты этого не помнишь сейчас. Но я тебе говорю — папа тебя любил очень. И ему было больно последние два года смотреть, как ты живёшь. И я думаю, что он бы хотел, чтобы ты сейчас был как он. Хоть немножко.

— Я постараюсь.

— Не старайся. Будь.

— Хорошо.

— Ну всё. — Голос у неё чуть-чуть, едва заметно, дрогнул. — Лизе скажи, что я её люблю. Звони мне. Часто не прошу. Но когда будут новости — звони.

— Хорошо, мама.

— Целую.

Гудки.

Я положил телефон на стол отца.

Сидел минут пять.

Я не плакал — потому что не помнил эту женщину и не помнил отца, и плакать было не о ком конкретно. Но что-то происходило внутри, что-то медленное и тяжёлое, как когда сдвигается мебель в пустой квартире: действие закончилось, но звук продолжается эх.

Папа тебя любил.

Папа ездил в часовню на холме. Один. Три-четыре раза в год. Возвращался другим.

Папа умер через два месяца после того, как Шуйские не подписали мораторий.

Я открыл ноутбук.

Зашёл в почту Арсения — пароль Никифор Палыч продиктовал, оказалось, что у Арсения пароль на всё был «arsen@123». Гениально.

И в почте, в папке «Архив», нашёл письмо от отца. Январь 2017-го. За два месяца до смерти.

Тема: «Если что».

Содержимое:

Сеня, ты сейчас, когда это читаешь, скорее всего, в каком-то непростом положении. Иначе ты бы это письмо не читал. Я его прячу так, чтобы ты его нашёл, только когда сам начнёшь искать.

Я не буду давать тебе советов про жизнь. Поздно и не моё дело.

Я скажу тебе одну вещь. На холме в Воронцово, в часовне, под полом, во второй доске от северной стены — лежит свёрток. В нём — всё, что я хотел бы тебе передать, но не успел. Если ты до этого письма дошёл — значит, дошёл и до момента, когда свёрток тебе пригодится.

Не показывай его никому. Даже маме. Маме — особенно.

Папа.

Я перечитал письмо три раза.

Потом закрыл крышку ноутбука.

Снял со стены ключ от ящика стола — он висел на гвоздике, отдельно, не на общей связке. Открыл нижний ящик. В ящике лежали документы на машину — старая «Тойота-Камри» 2014 года, серебристая, на ходу, по словам Никифора Палыча. И ключ от машины.

Я взял ключ.

— Никифор Палыч.

— Слушаю, барин.

— Завтра я поеду в Тверскую.

Старик стоял в дверях. Лицо у него было совершенно нечитаемое, как всегда. Только глаза — на одну секунду — изменились.

В них не было ни радость, ни одобрение. Что-то спокойнее. Как будто он этого момента ждал, не зная, дождётся ли.

— Хорошо, барин. Я соберу вам провизию.

— Спасибо.

— И, барин.

— Да?

— Возьмите меня с собой. Я там бывал. С Сергеем Андреевичем.

Я посмотрел на него.

Старику было больше семидесяти. Дорога в Тверскую — четыре часа в одну сторону по плохой осенней трассе. Часовня на холме, в которой, по словам матери, отец ночевал один.

— Поедем, Никифор Палыч.

— Благодарю, барин.

Он коротко поклонился — как кланяются не за разрешение поехать в командировку, а за что-то другое. И вышел.

Я остался в кабинете один.

За окном начался дождь — медленный, мелкий, безнадёжный, как все октябрьские дожди. На столе лежала папка «Шуйские. Переписка». Рядом — телефон с гудками от мамы. На стене — портрет отца, которого я никогда не видел и которого мне теперь предстояло узнать.

Я налил себе остаток кофе из турки.

И впервые за два дня — *тихо*, для себя, — сказал вслух:

— Здравствуйте, папа.

Портрет не ответил.

Но это как раз и нормально.

Я и не ждал.

Глава 5. Лопухин

Поехать в Тверскую завтра не получилось.

Потому что в десять утра позвонил Андрей Лопухин.

* * *

Это было ожидаемо. Я даже немного удивился, что не раньше — Шуйские, если они работали так, как я их себе представлял по архиву отца, должны были запустить Лопухина в дело сразу после визита Кравцова. То ли Кравцов не сразу доложил, то ли Шуйские сначала хотели посмотреть, что я буду делать.

Делать я ничего показного не делал. Сидел в особняке. Не выходил. Не звонил никому, кроме как ответил матери. Не покупал ничего, кроме лекарств. С точки зрения Шуйских, я был ровно тем, кем они хотели меня видеть: больным мальчиком, который очнулся, понял масштаб задницы и сидит дрожит в страхе.

Лопухин, видимо, ехал проверить.

Голос у него был такой, какой я и ожидал, — лёгкий, тёплый, с тем хорошим интонационным богатством, которое отличает людей, выросших в семьях, где разговаривать умеют.

— Сенька! Брат! Я только вчера узнал, что ты очнулся, мне Лизка не сказала, представляешь? Я тебе сейчас приеду, я в районе, я через двадцать минут буду, никуда не уходи.

— Привет, Андрей.

— «Привет, Андрей»? Ты что, обиделся? Ты меня не помнишь? Лиза сказала, у тебя с памятью что-то?

— Частично.

— Сенька, я приеду — расскажу всё. С самого начала. У нас с тобой такая жизнь была, что забыть — преступление.

— Приезжай.

— Уже еду.

Он отключился.

Я положил телефон.

— Никифор Палыч.

— Слушаю, барин.

— Через двадцать минут будет Лопухин. Принимаю в гостиной.

— Понял, барин. Чай нести?

— Несите. И

— Слушаю.

— Пирожки есть?

Старик чуть приподнял бровь.

— Будут, барин. Через двадцать минут будут.

— С мясом.

— Будут с мясом.

Он развернулся и пошёл на кухню походкой, которая впервые за два дня обозначила, что внутри у Никифора Палыча оказывается есть скорость.

* * *

Я бы соврал, если бы сказал, что меня не трясло.

Это была первая встреча, в которой мне предстояло играть — не реагировать, как с Кравцовым, не выяснять, как с Лизой, а *играть роль*. Роль человека, у которого амнезия, который ничего не понимает, который рад другу, который ничего не знает про папины письма, про Шуйских, про Тверскую землю, про часовню на холме.

Я ходил по гостиной и репетировал лицо.

Это было идиотски, я знаю. Но в той — чужой — памяти у меня был один опыт, который тут пригодился: переговоры с клиентом, который точно знает, что у тебя в отчёте дыра, и точно хочет проверить, знаешь ли ты, что он знает. На таких переговорах главное — не лицо, а *плотность присутствия*. Не надо изображать спокойствие. Надо быть медленным.

Я был медленным.

Лопухин приехал через двадцать две минуты. Машина у него была — судя по звуку из окна — не очень дорогая, но не дешёвая. Что-то вроде «Ауди» среднего класса. То есть достаточно, чтобы выглядеть «в порядке», но не настолько, чтобы выглядеть «над Арсением». Шуйские, видимо, держали Лопухина в чёрном теле — финансово ровно столько, сколько надо для имиджа верного друга.

Никифор Палыч проводил его в гостиную.

* * *

Лопухин оказался высоким, тонким, с лицом приятным до приторности. Лет двадцати пяти, как Арсений. Светло-русые волосы зачёсаны назад, рубашка голубая, джинсы тёмные, кроссовки белые — *очень* белые, такие, какие надевают, когда едут к человеку, на которого нужно произвести хорошее впечатление.

Он вошёл с распростёртыми объятиями, и я встал.

— Сенька!

Он обнял меня. По-настоящему. На пять секунд. Потом отстранился, держа за плечи, и посмотрел в лицо.

— Брат, какой ты худой стал.

— Четыре месяца лёжки.

— Так, ну садись, садись. Никифор Павлович, чай-кофе? Чай? Чай давайте.

Никифор Палыч (которого Лопухин почему-то назвал Павловичем, хотя он предпочитет — Палыч) внёс поднос с чайником, чашками и тарелкой с пирожками. Чай был свежесваренный, чёрный, крепкий. Пирожки — горячие, я не понимаю, как Никифор Палыч успел.

Лопухин сел напротив меня. С удобством — широко, нога на ногу, локоть на спинке. Так садятся в своих гостиных.

— Сенька, я в шоке, — начал он. — В полном. Я тебя видел в больнице — раз пять заходил, лежишь, бледный, врачи говорят «прогнозы неопределённые», я думал — ну всё, плохо дело. А ты — раз — и очнулся. Ты пойми, я просто *счастлив*. Я говорю Машке вчера — Сенька очнулся, она такая — ой, Андрюш, ну слава богу, я говорю — ну слава.

— Какой Машке?

— Жене. Моей жене. Машка. Ты не помнишь?

— Нет.

— Ну ёлки. Мы с тобой у нас на свадьбе были — то есть ты у нас на свадьбе был — два года назад. Шафером.

— Не помню.

— Сенька, это пиздец. — Он развёл руками искренне. — Извини. Я просто не понимал масштаб. У тебя что — реально вообще ничего?

— Кусками. Что-то помню. Что-то нет.

— А я? Меня помнишь?

Я сделал паузу. Очень короткую. Меньше секунды.

— Помню фамилию. Лица не помню. Что-то про университет.

Лопухин кивнул серьёзно, сочувственно. Сделал глоток чая. Откусил пирожок.

— Жесть. Ну ладно. Будем заново знакомиться. Я Андрюха Лопухин, мы с тобой с первого курса юрфака МГУ, ты — лучший друг, я — лучший друг. У нас с тобой было всё. Запойные ночи, экзамены за час до сдачи, две истории с криминалом, одна совместная влюблённость — и она нас, кстати, чуть не пооссорила, но мы выстояли. Ты потом ушёл из юрфака после

третьего курса, я доучился. Я сейчас работаю — ну, у Шуйских в юротделе младшим. Платят сносно, для опыта норм.

Он сказал «у Шуйских» абсолютно ровно. Как сказал бы «в «Газпроме»» или «в Сбере». Без нажима, без увливания.

Это было хорошо сделано.

Я кивнул.

— И ты со мной до больницы общался?

— Конечно. Каждую неделю минимум встречались. В «Альбатросе» в основном, ты там подсел в последний год, я тебя пытался оттуда тащить, но ты не очень слушал. — Он усмехнулся горько. — Сенька, я не знаю, как тебе сказать Ты в последний год сильно вниз поехал. Сильно. Я переживал. Я тебе говорил — «Сенька, остановись», ты в ответ — «Андрюх, ты не понимаешь, у меня всё под контролем». Ну какой контроль. Ты потом за руль сел пьяный и в дерево въехал.

— А ты в тот вечер был со мной?

Это был ключевой вопрос.

Я задал его без интонации. Спокойно, медленно, как задал бы клиенту вопрос про спорную строку в отчёте — без подозрения, просто уточнить.

Лопухин не дрогнул.

— Был. До часу примерно. Потом я уехал — у Машки температура была, я тебе говорил, ты сказал «ладно, езжай, я ещё посижу, потом такси». Ты потом, видимо, не на такси. Меня до сих пор это гложет. Я думаю — остался бы я, может, не отпустил бы тебя за руль. — Он покачал головой. — Я как узнал утром — у меня просто всё. Я к Машке, говорю — Маша, Сенька в коме, она такая — Андрюш, бог с ней с температурой, едем в больницу, мы поехали.

Он говорил гладко. Очень гладко. История стыковалась — час ночи, жена с температурой, поехал домой, утром позвонили. Лучший друг переживает, заходит в больницу.

И всё было бы убедительно, если бы у меня в столе наверху не лежала папка «Шуйские. Переписка», в которой было письмо отца от 2015 года, где он писал, что Лопухин — *внедрённый ресурс*, и просил Арсения с ним разорвать общение.

И если бы у меня в голове не сидела фраза Никифора Пальча: «Сергей Андреевич примерно с пятнадцатого года категорически не пускал Андрея Андреевича в дом. По совокупности».

Я улыбнулся.

— Андрюх, — сказал я. — Спасибо, что приехал.

— Сеня. — Он положил руку мне на плечо. — Слушай. Я знаю, что у тебя сейчас сложная ситуация. С домом, с долгом. Я в курсе — у меня доступ есть, я в юротделе сижу, я видел документы. И вот что я тебе скажу.

— Скажи.

— Я могу помочь.

Я молчал. Внимательно.

— У Шуйских — нормальные люди, — продолжал он. — Я понимаю, в их сторону у тебя сейчас, наверное, неприязнь, потому что они твоим долгом манипулируют. Но я там работаю, я знаю изнутри. Это нормальные мужики. С ними можно договариваться. У меня хорошие отношения с Игорем Витальевичем — это глава рода. Я могу тебе устроить встречу. Не с Кравцовым этим жлобом, а лично с Игорем Витальевичем. По-человечески поговорите. Уверен, найдёте решение.

— Какое решение?

— Ну, например. Рассрочка. Снижение процентов. Они могут — для своих, для тех, с кем хотят сохранить отношения. Я думаю, Игорь Витальевич может пойти навстречу.

— Зачем ему?

Лопухин чуть запнулся.

— Что — зачем?

— Зачем Игорю Витальевичу идти мне навстречу. Я ему кто. Должник, без дара, без денег. Что я могу ему дать, чтобы он мне снизил проценты.

Лопухин выдержал паузу.

Очень короткую. Доли секунды.

Но я её увидел.

Это была *рабочая* пауза. Не пауза «опа, я не подумал». Пауза «я подумал, как сказать».

— Сень. Не всё в этом мире через вин-вин. Бывает и так, что человек видит — другой человек в беде, и помогает. Игорь Витальевич — мужик старой школы. У него понятия. Он видит — род Воронцовых на грани, наследник в коме, особняк в залоге. Он может, как старший, протянуть руку.

— И что попросит взамен?

— Сенька, ну ты циник.

— Я аудитор, — сказал я.

И сразу понял, что ляпнул я это на автомате и зря.

Лопухин чуть наклонил голову.

— Кто?

— Что?

— Ты сейчас сказал «я аудитор».

Я моргнул.

Я моргнул честно, естественно, как моргает человек, который сам не понял, что сказал.

— Извини. — Я провёл рукой по лицу. — У меня в голове последние дни лезет всякое. Слова, фразы, какие-то воспоминания, которые непонятно мои или из фильма. Я не знаю, откуда «аудитор». Может, сериал смотрел.

— А, — Лопухин кивнул. — Понятно. Это нормально, после комы у людей такое бывает. Мне Машка рассказывала — она с медициной связана — что вообще в первые недели у человека после долгой комы каша в голове. Это пройдёт. Главное — не пугайся.

— Не пугаюсь.

— Молодец.

Он улыбнулся.

Я улыбнулся в ответ.

Это была одна из самых аккуратных секунд в моей жизни — старой или новой. Лопухин услышал слово «аудитор». Лопухин знает, что Арсений Воронцов никогда в жизни не имел отношения к аудиту. Лопухин это запомнит и доложит Шуйским вечером.

Шуйские задумаются.

И вот это — было моей ошибкой.

Но ошибки бывают полезные. Эта была почти полезная. Потому что теперь Шуйские будут не просто давить — они будут *смотреть*. А когда на тебя смотрят — тебе виднее, кто смотрит. Когда тебя только давят — ты ничего не видишь, кроме давления.

— Андрюх.

— Да, Сень.

— Передай Игорю Витальевичу спасибо. Я подумаю про встречу. Дай мне неделю — я приду в себя ещё чуть, и тогда поговорим. Сейчас я просто не выдержу разговор такого уровня. Голова не варит.

— Конечно, конечно. — Лопухин встал. — Сень, я к тебе на той неделе ещё забегу, ок?

— Забегай.

— Не пропадай, брат.

— Не пропадаю.

Мы обнялись. Он чуть похлопал меня по спине — тепло, дружески, *профессионально*.
— Никифор Павлович, спасибо за пирожки, — кинул он в коридор. — Жене расскажу, она вас расцелует.

Никифор Палыч у двери молча поклонился.

Лопухин вышел.

Я услышал, как он сел в машину. Как машина завелась и как уехала.

Никифор Палыч закрыл дверь.

Я постоял в гостиной минуту. Потом сел обратно на диван.

— Никифор Палыч.

— Слушаю, барин.

— Он назвал вас Павловичем.

— Так точно.

— Вы предпочитаете Палыч?

— Да.

— А он вас всегда так называл? Павловичем?

— Всегда, барин. Двенадцать лет.

— И вы его не поправляли?

Старик чуть приподнял бровь.

— А зачем, барин?

Я посмотрел на него.

И понял, наверное, главное про Никифора Палыча.

Он *не поправлял* Лопухина двенадцать лет — потому что знал. Знал с самого начала. Знал, что этому человеку не место в доме, и знал, что Сергей Андреевич это знал, и знал, что Сергей Андреевич ничего не сможет сделать, пока Арсений сам не выберет, кого слушать.

Никифор Палыч просто ждал.

Семь лет.

— Никифор Палыч.

— Слушаю, барин.

— Поедем в Тверскую завтра в шесть утра.

— Уже собрал, барин.

— Когда успели?

— Пока вы с Андреем Андреевичем разговаривали.

Он коротко поклонился и ушёл на кухню.

Я остался в гостиной.

За окном дождь шёл уже тише. Старая липа постукивала об стекло.

Я сидел и думал о двух вещах.

Первая — что я сделал ошибку с «аудитором». Шуйские теперь будут смотреть пристальнее. Это плохо.

Вторая — что Лопухин, выходя, сказал «не пропадай, брат». Сказал тепло, искренне, и я почти ему поверил — на одну секунду. И вот эта секунда была опаснее всего. Потому что в той секунде я почувствовал, как легко было быть Арсением Воронцовым до меня. Как легко было верить лучшему другу. Как легко было пить, проигрывать, подписывать и не читать.

Я понимал теперь, как это произошло.

И впервые — не презирал прошлого Арсения.

Жалел.

Жалость — плохое чувство для аудита, но хорошее для жизни.

* * *

Вечером Лиза приехала с пакетом продуктов и одной новостью.

— Сеня. Кравцов прислал мне на электронку «новое предложение».

— Уже?

— Уже. Почти сразу после визита Лопухина, представь.

— Что в предложении?

Лиза села на диван, открыла телефон, протянула мне.

Я прочёл.

Предложение было такое: «Шуйский Капитал» готов простить *весь* долг — 67 миллионов 612 тысяч — в обмен на передачу в долгосрочную аренду (49 лет) земельного участка Воронцовых в Тверской области, площадью 312 гектаров, без права досрочного расторжения, с символической арендной платой 1 рубль в год.

Я прочёл два раза.

Поднял глаза на Лизу.

— Они показывают карты, — сказал я.

— Что?

— Им не нужен особняк. Им нужна Тверская земля. И они так быстро прислали это предложение, потому что они *уверены*, что я ничего не пойму. Они меня списали со счетов.

Лиза смотрела на меня.

Долго.

— Сеня, — сказала она тихо. — Ты *точно* меня тот же Сеня?

Я вернул ей телефон.

— Завтра я еду в Тверскую с Никифором Палычем. Хочешь — поехали втроём.

Она помолчала.

— Поехали.

— В шесть утра.

— Поехали.

Я кивнул.

И впервые за два дня — *тихо* — мне стало почти спокойно.

Не потому что положение улучшилось.

Потому что теперь нас стало трое.

Глава

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.